

Александр  
БЛОК

*Сочинения*



Александр Александрович Блок

## Девушка розовой калитки и муравьиный царь

«Несколько лет тому назад мне пришлось проводить лето в южной Германии, в Гессен-Нассау. Из пыльного, безнадежного белого курорта в стиле moderne выходишь на высокие холмы, где по большей части торчит серая башня из ноздреватого, выветрившегося камня. Туристы влезают туда, крутят вверху носами, любуясь на виды, и лопочут дикие и ненужные речи об окрестных пейзажах на разноплеменных языках. Правда, страна богатая, тучная страна открывается с горной башни: хлебные пажити, красные крыши частых зажиточных селений, где мельница вертит гигантское колесо. Колесо приводит в движение поршень, тянущийся по полям и холмам, под железнодорожной насыпью на несколько километров. Гуляешь вдоль этого поршня, сядешь и покатаешься на нем, боязливо оглядываясь, чтобы культурные немцы не согноли некультурного русского со своего поршня...»

# Содержание

1.....	0005
2.....	0010
3.....	0017
4.....	0020

**Александр Блок  
Девушка розовой калитки и  
муравьиный царь**

Несколько лет тому назад мне пришлось проводить лето в южной Германии, в Гессен-Нассау. Из пыльного, безнадежного белого курорта в стиле *moderne* выходишь на высокие холмы, где по большей части торчит серая башня из ноздреватого, выветрившегося камня. Туристы влезают туда, крутят вверху носами, любуясь на виды, и лопочут дикие и ненужные речи об окрестных пейзажах на разноплеменных языках. Правда, страна богатая, тучная страна открывается с горной башни: хлебные пажити, красные крыши частых зажиточных селений, где мельница вертит гигантское колесо. Колесо приводит в движение поршень, тянущийся по полям и холмам, под железнодорожной насыпью на несколько километров. Гуляешь вдоль этого поршня, сядешь и покатаешься на нем, боязливо оглядываясь, чтобы культурные немцы не согнали некультурного русского со своего поршня. Жарко невыносимо, нивы наливаются, черешни краснеют по краям шоссе, никем не охраняемые, пирамидальные тополя в пыли.

А все-таки хорошо (особенно по воспоминанию); точно зеленым Рейном пахнет, да и правда, Рейн недалеко, и, верно, зеленый, в холмистых берегах.

Романтическая страна. В курорте скука – тоже зеленая. Сам «творишь» свою жизнь, свое отчаянное безделье и русскую скуку и лень. Немцы и англичане деловито гуляют в парке и на террасе кургауза с газетами и сигарами. В одиннадцать часов на улицах уже нет ни души, «шпенеры» не громыхают; только русские, самые непокорные и незаконные люди, нарушая курортный режим, гуляют в парке и над озером, где совсем сказочные лебеди и туманы. Ну, конечно, объясняются в любви и целуются на скамейках, пользуясь сном «для здоровья» благоразумных европейцев. Только, к несчастью, и целуются, пожалуй, тоже от безделья и скуки, как-то «авантюрно» и, вернувшись в свою столицу, нежно рассказывают чиновным приятелям о летних приключениях. И свидания над туманным озером еще больше нагоняют скуку, знаешь, что через месяц-два поплетешься по Невскому под мокрым снегом. И эти любовники то-

же поплетутся, он – в Петербурге, а она – в Кишиневе. Скука.

Днем по солнцепеку идешь за город – среди нив. Сначала – салины-градирни, которые приводятся в движение бесконечно длинным поршнем. Это – высокие стены, туго набитые хворостом; под ними – деревянные резервуары, куда, серебристо звякая, без усталости падает жидкая соль. Против салин, задрвав ноги и сопя, сидят особы обоего пола с книжками из немецкой библиотеки. Они вдыхают соль ртами и носами и представляют комментарий к тексту: «если соль потеряет свою силу, кто сделает ее соленою». По крайней мере, судя по их позам, лицам, пиджакам и юбкам, думается, что никакая сила в мире не возвратит им их утраченную соль.

От такого зрелища одичалый и здоровый русский (каковым был и я) шарахается в поле. Густо колосится рожь, за нею – сырые стены города и замка, куда я направляю путь. Если наклониться во ржи, чувствуешь себя в России: небо синее, и колосья спутанные, и пробитая среди них тропа. Идешь мимо целебных ключей, где закупоривают бутылки и

всюду виднеются надписи: Brunnen (источник (нем.)) такой-то. Шоссе. Красные арки большого железнодорожного моста через зеленую ложбинку, которая одним восклоном своим возносит меня незаметно на большую высоту – сразу на площадь городка, которому несколько сот лет. Кружишь по закоулкам, стучишь по кривым плитам, минуешь гофмановские крылечки перед дверьми с узорной ручкой. Там обитают бритые сказочные тайные советники. От роз даже душно: всюду они – большие и мелкие, колючие, цепкие, бледные, яркие, густо-красные, нежно-желтые и белые, как платье Гретхен. Вдруг натыкаешься на собор на узкой площади и в сотый раз делаешь наивное открытие: романтическая страна. Окна стрельчатые, вышина громадная, только из-за узеньких домиков не видно. В углу у водосточного желоба – груда обломанных фигурок, свалившихся с крыши и тщательно подметенных. Это – те самые химерические уродцы, которые сидят на Notre Dame.

Наконец, вот широкая площадь со старым дворцом и домом бургомистра. В тенистом уг-



лу – крошечная калиточка, чуть заметная в серой каменной стене. Привратник впускает в нее и покидает посетителя. Начинается сказка.

Калитка распахнулась. Сразу бросается в глаза непомерный горизонт, обрамленный городами, селами, дымками локомотивов, синими рощами, белыми жаркими облаками. Что-то упорно-новое, распирающее грудь, то новое, что всегда дразнит чудесами и заставляет любить даль. Но только ли от дали эта новизна? Нет, я попал в новую страну. Меня окружает узкий и длинный сад, разбитый на валу германского замка. С вала я вижу даль, а за валом сразу срывается земля и стена и открывается зеленый ров, куда страстно, до головокружения, хочется полететь. До сих пор я был в немецком городке, среди немецких полей, рощ и насыпей. Теперь я в стране германской легенды. От того – прежнего, исторического, мертвого – меня отделяет лишь маленькая калитка.

Даже прохладнее. В самый жаркий полдень над садом господствует тень древней стены. Стена эта окрепла от равнинных дуновений. Красный герб древнего владельца впитал в себя всю соль окрестной равнины, и не

разобрать уже на нем полустертых латинских слов. Но, конечно, это вечный девиз, и если бы я начертал его на своем щите, то прожил бы долгую жизнь властелина и распри мои с миром были бы такие же свободные и мирные, как этот ветер, освежающий лицо: просто я покорила бы сердца всех златокудрых красавиц, я заточил бы непокорного вассала в сырое подземелье; под игом моим была бы вся окрестная страна; вон та башня, которая торчит на дальней горе, была бы моей дозорной башней. А злодей со сросшимися бровями лежал бы мертвый во рву. И там текла бы прозрачная, злая, непорочная вода.

Всему, всему веришь за этой калиткой, обновившей меня по крайней мере на весь день. Верно я стал красив. Чужая красота дохнула на меня. Верно и сердце мое – раскрывающийся розовый бутон. По крайней мере я люблю сейчас и тебя, Германия, как старое крепкое вино, и тебя, златокудрая немка, чуть заметная на зеленой равнине.

Середина сада вынута и представляет второй неглубокий ров, через который перекинут мостик. Земли и нет как будто. Земля «ис-

черпана»; очарования мои «неземные», и я хочу говорить как романтик. Со дна лощины поднялись стволы и взбежал кустарник. Плющ все обнял своим забвением. Вокруг лощины идет аллея, действительно «идет» – медленным шагом взбирается – и вот потекла по самому краю стены, постепенно открывая виды, уходя в купы стриженных лип, окружаясь розами и георгинами. Здесь розы бледны, они слишком много любили; здесь георгины – усталые, тень упоила их мутно-лиловые склоненные головы. Нет цветов лучше роз и георгин; как жизнь прекрасна среди таких цветов!

Вот аллея пошла круче; ее дыхание затруднилось, она взбежала куда-то, как живая. Здесь – крайняя точка сада, там – конец; остается только спрыгнуть в зеленый ров, перегнувшись на ту сторону стены, на ветер, в чужую жизнь, прямо в объятия старого городка, который подбежал снизу; городок малый, красноголовый, хищный, жадно заглядывает в старое свое святилище, он готов принять меня в свою «малость».

Аллея кончилась угрозой. На краю стены

растопырилась беседка, серый зверь – из неободранных древесных стволов. Там – такое же кресло, такой же столице. Точно сидит в этом кресле нелепый обрубок прошедшего – низколобое существо; точно стоит перед ним на столе толстоногий золотой кубок с древним хмелем. Существо хлебает сладкий напиток, и перо хлопает беспорядочно по шляпе. Оловянные у него глаза. Топорный у него подбородок и уродливый нос. Серое чудище, – и ветер вокруг ходит серый.

Лучше я сохраню мою нежность и возвращусь К моим георгинам, в жилище пажей. Они как будто ныряют в розовых кустах – гибкие и смеющиеся мальчики. Обгоняют друг друга вприпрыжку. Я думаю, каждого по очереди целует владычица замка; она делит между ними свои ночи, пока низколобый господин наблюдает из беседки, всюду ли горят сторожевые огни, не спят ли на валу верные латники.

От толстого ствола стриженной липы отделилась толстая ветка. В этом месте лежит черная маска, оставленная в одну из безумных германских ночей прошлых столетий.

Дырявые и мертвые ее глаза смотрят все еще нежно. Верно, владелица испытала в ней первый восторг. Прохожу, – паж бегаёт где-то в другом конце сада. Право, он ищет кого-то. Как упорно ищет, и сколько столетий, а все еще молод! Он хочет поцеловать госпожу, – где госпожа?

И вот – влюбленной моей думой, расцветшей душою, моим умом, все-таки книжным, я различаю и госпожу. Но она присутствует здесь лишь как видение. Утратила она свою плоть и стала «ewijf-weibliche» («вечно женственной») (нем.). Все в розах ее легкое покрывало, и непробудны ее синие глаза. Паж ищет ее столько столетий, но он не прочел тех книг, которые прочел я. Потому он, глупый, все еще бегаёт по саду, у него губы дрожат от страсти и досады, он уронил свой коротенький плащик, стал совсем тоненький и стройный. Оперный пажик. Никогда он ее не найдёт. Разве можно найти там, где все так увлажнено, пышно, где земля исчерпана, и все в каком-то небесном расцвете, в вечном разделении. Ищи, паж, на то ты не русский, чтобы всегда искать и все не находить. Далее-

кую ищи, но далекая не приблизится. Придет к тебе – тонкая, хорошенькая дочь привратника. Льяные, будут у нее косы, и она музыкальным голосом расскажет тебе, где продаются самые свежие булочки к сколько детей у бургомистра. Она покраснеет и опустит шелковые ресницы, и ты примешь ее за далекую, и будешь целовать ее, и откроешь булочную на Burger-strasse (мещанской улице (нем.)). Она будет за прилавком продавать немцу самые лучшие булочки и приумножит светленькие пфенниги. Она – тоже розовая, и на кофточке ее приколоты розы, и розой прикрывает она грудь, когда ты возишь ее на бургерские вечеринки. Да, ты счастлив; ты встретил ее в маленькой калитке, и романтическая головка твоя дала ей имя: «Девушка розовой калитки». Вот она уже родила тебе толстенную дочку; вот она стада полнеть от невинного золотистого пива; вот пальчики ее образовали складки вокруг обручального кольца. Но ты все еще зовешь ее: «Девушка розовой калитки».

А другие пажы все еще бегают по саду и целуются с ветром. И пугает их корявый пьяни-

ца, сидящий с кубком в беседке из толстых сучьев и ветра.



Весь романтизм в этом. Искони на Западе искали Елену – недостижимую, совершенную красоту. Отсюда все эти войны и кровавые распри с полуфантастическим врагом; эти фигуры верных рыцарей с опущенными забралами и лукавых монахов» у которых бегают глаза и чрезмерно, фантастически упитаны щеки. Потом сверкающие груди отвлеченных идей, философских концепций, националистических упований. И сам сморщенный Кант, водрузивший свой маленький стульчик на холмике, с которого легко обозревать мир феноменов, гармонирующих друг с другом и по дальности расстояния и по слепоте слезящихся глазок тайного советника, – не имеющих в себе ничего ноуменального.

Все отдельно, далеко, «непознаваемо», начиная с исковой идеальной Елены, все удаляющейся в наконец вступившей в раму католической иконы, кончая «вещью в себе», ноуменом, на котором написано: «Непознаваем, неприкосновенен. Приходите». И приходят

очень быстро, потому что всего только «Viertdbtunde» [1] ходьбы до грандиозного кабака современной европейской культуры с плоской крышей, похожей на вывернутую австрийскую фуражку. Гладкий натертый пол и безукоризненные кельнеры. Все далеко, недостижимо, прельстительно своей отдаленностью: немецкая национальность, «вещь в себе», железное туловище Бисмарка с пивным котлом на могучих плечах и нежная романтическая поэзия, Также далеки и идеальны эти старые городки с черепичными крышами, розами, соборами и замками. Бесцельно мучает эта древняя прошедшая красота, не приобщишься ей, не отдашь ей души. Нежнейшее остается чужим. Здесь нет «заветного», потому что «завет» обращен лицом к будущему. Неподвижный рыцарь – Запад – все забыл, заглядевшись из-под забрала на небесные грёзы. Лицо его окаменело, он стал изваянием и «ступил уже в ту цельную гармонию окружающего, которая так совершенна. Он ищет мертвым взором на многообразной равнине то, чего нет на ней и не будет, И стал он благообразен, как пастор, брит и бледен, И

мечтания его ничем не кончатся. Не воплотятся.

*Он себе на шею четки  
Вместо шарфа навязал  
И с лица стальной решетки  
Ни пред кем не поднимал.*

Гармонические линии, нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искание невозможного. Как невыносимо после этого попасть в Россию, у которой в прошлом такая безобразная история; все эти страницы о московских государях не гнутся, как толстая безобразная парча, покрывавшая боярские брюхи, и хлюпает противная кровь на этих страницах – кровь тяжелая, гнилая, болотная. И зеваются над этими страницами, как боярину на лежанке или в земском соборе. А дальше идут какие-то глупые боги, полувыдумки сентиментальных и народолобивых ученых; какие-то богатыри, которые умеют ругаться, умеют бахвалиться, а лучше всего умеют пьянствовать и расправлять грязные Кулачищи. Как запахнет западной легендой, свежее становится; как обработает эту легенду какой-нибудь болгарский поп и привезет в Россию, становится нестерпимо: из легенды вышло не вздыхающее предание, не повесть о любви легкой и бессмертной, а какой-то отвратительный поползень, который

окарачь ходит. И вот уже граф Алексеи Толстой, этот аристократ с рыбьим темпераментом, мягкотелый и сентиментальный, имеет возможность вдохновенно изложить русскую былинку, легенду или историю скверным русским языком, выжать из нее окончательно всю западную общечеловеческую прелесть и преподнести осклизлую губку Русского собрания. И нежный Орест Миллер имеет возможность с восхищением выудить русскую поговорку, ибо на Руси – что ни поговорка, то пошлость.

С трудом пробираясь во мраке и бездарности российских преданий, чернорабочими тропами, как это делали и делают многие русские ученые, склонные уводить в книжные тексты и никуда из них не выводить, – мы внезапно натываемся на руду. Поет руда. Над ухом стоит профессор. Слышен его голос: «Ну, это, знаете, неинтересно. Какое-то народное суеверие, продукт народной темноты». Но голос профессора, тщетно призывающий к иным памятникам, заглушает певучая руда. И сразу не разберешь, что поет, о чем поет, только слышно – поет золото. Древняя руко-

пись гласит: отыщи большой муравейник, от которого идут двенадцать дорог. Раскопай и облей его водою и наткнешься на дыру в земле. Копай на три сажени и увидишь муравьиного царя на багряном или синем камне. Облей его кипящей водой, и он упадет с камня, а ты копай опять, охвати камень платом. Он спросит: «Нашел ли?» А ты продолжай копать молча, камень держи во рту и платом потирайся. «Ты, небо-отец, ты, земля-мать, ты, корень свят, благослови себя взять на добрые дела, на добро».

Что же? Корявый и хитренький мужичонка копается в муравейнике, ищет корешка, которым, верно, будет лечить коровье вымя или свою больную бабу. Отчего же муравьиный царь так беспокоится, и отчего мужичонка так красиво просит о корешке небо и землю?

Оттого, что у мужичонки – сила нездешняя. И муравьиный царь – тайный его сообщник. А главное, оттого, что мужичонка наверное найдет корешок, на что бы он ему ни был надобен. Ищет, значит найдет. И поет этот таинственный корешок в простой легенде, как

настоящая золотая руда. И всего-то навсего видны только лесная тропа, да развалившийся муравейник, да мужик с лопатой, – а золото поет.

Все различимо, близко, будто уж найдено; вытащит мужик корешок, поплюет на него и уйдет. Все так и прет прямо в глаза, лубочное, аляповатое, разбухшее. Ошеломлены глаза, тошно от найденной уже, не искомой силы. Все реально, мечтам нет места, и неба не видно. Да и стоит ли смотреть на это небо, серое, как мужицкий тулуп, без голубых просветов, без роз небесных, слетающих на землю от германской зари, без тонкого профиля замка над горизонтом. Здесь от края и до края – чахлый кустарник. Пропадешь в нем, а любишь его смертной любовью; выйдешь в кусты, станешь на болоте. И ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет.

Верно, на песни этого золота прилетел от каких-то испанских пределов св. Антоний. Прилетел на камне, да и стал на новгородских болотах. Пришли мужики, увидали, что святой пресветлый стоит, и тут же монастырь поставили.

Западная легенда создана, лежит она в колючих и душистых кустах, в тысячелетних рвах. И Тристан будет в одинокой тоске носить по морю. И дева будет бесконечно ткать, вышивать пышные узоры, воссоздавая

*Картину боя,  
И волны синие, и бор.*

И оплетут душные, непроницаемые розы могилы влюбленных. Или столетняя старуха, когда-то прекрасная Больдур, встретит, шамкая, на пороге башни прекрасного Пекопена, возвратившегося с дьявольской охоты, как встретила она его в такой красивой, такой пышной и такой упадочной легенде у В. Гюго.

Эта история протянула синий полог, дальний полог, над замком, башней, ржавыми ключами у пояса твоего, золотокудрая! Песенка жизни спета. Навеки не поднять забрала, не опустить на ржавых петлях моста через ров с невинной и злою водой, чтобы по этому мосту ворвалась в мертвый замок веселая и трагическая жизнь.

Бедная русская легенда развивается непрестанно. Она создает жизнь. Сердце простых



русских людей – тоже легенда, оно само творит жизнь. Ничего не берут с собою – ни денег, ни исторических воспоминаний – эти русские люди, столько веков уходящие в страны, которые для искателей Елены были от века дикими, варварскими, гиперборейскими странами.

Мы живем в столицах политиканствующих, спорящих об искусстве и пожирающих тысячами тощих коров и ленивых свиней, которых пригоняют к нам дикие люди из глубины дикой России. Вряд ли что другое, кроме мычания этих несчастных коров, доходит до слуха горожан. О тех странах мы ничего не знаем, география и статистика очень затрудняют для нас познание этих стран. Из рассказов русских туристов можно иногда выжать какие-то жемчужные зерна, – но кто из них сознавал и видел под» земный блеск алмазов! Бессознательно передают они что-то бытовое о том, в чем нет никакого быта.

Я слышал один рассказ: среди печальных топей Новгородской губернии стоит монастырь. Монахи насыпали на дворе горку, уснастили ее игрушечными храмиками, де-

ревцами и поставили маленьких черноризцев из дерева или из олова. Так проводят они свою болотную жизнь: перед глазами всегда этот маленький самодельный Афон, святая гора. «Православны» ли они, тупы ли? Думаю, что нет. Они – люди легенды, какие-то тихие светлоокие люди, каких мы в столице никогда не встретим теперь, не обратим внимания. Среди них – какая-то безумная, нелепая старица, которая всю жизнь помогает тамошнему попу. И этот поп стал каким-то святым для нее. Она ему и стих сочинила:

*Перед царскими вратам  
Славословлю вместе с вами.*

Разве здесь не пахнет опять этим муравьиным царем? Какая-то особая нежность нищеты, неотвлеченное смирение, неустанное стремление к вещественному Афону, как к маленькому корешку под багряным камнем, – и два стиха, сочиненные после долгой жизни в однообразии монастырской тишины и влюбленности. Какая тут история, или православие, или боярская парча? Само время остановилось. Все это – какие-то тихие болотные

«светловзоры».

Одного такого светловзора мне удалось встретить. Он вовсе не был даже монахом, и мне не хочется думать, что он вообще был кем-нибудь. Он был человеком. Манера его была простая, мягкая, неуклюжая. Он был самый простой, скромный человек, но отличался от других тем, что провел несколько лет в Сибири, среди тайги, в центре шаманства, и оттого глаза у него были прозрачные и голубые на огрубевшем, очень мужественном лице. Было ясно, что он сохранил свою душу. Он прислушивался с легким удивлением и очень доброжелательно к «литературным» разговорам, которые шумели вокруг, но сам принимал в них мало участия, больше спрашивал с интересом, какого никто из говорящих не испытывал. Было ясно, что он всюду прозревал новизну, даже там, где ее не было. Сама его чистая душа творила эту новизну.

Он стал немножко похож на героя гамсуновского «Пана», когда, пожимаясь и стесняясь, сообщил свои северные впечатления. Выдавая себя за «специалиста» и «материалиста», с какой-то «таежной» скромностью он

рассказал, как шаманка назначила ему день, когда он будет в лесу, около ее жилища. Он не поверил, но в тот самый день, сам не сознавая, очутился на тропе, приведшей его к шаманке. И потом он рассказал еще, как всю ночь плясала шаманка, взмахивая бубном, падая в изнеможении, чтобы, отдохнув немного, снова пуститься в свой колдовской пляс.

Нам странно слушать такие рассказы. Слушаешь и думаешь: где-то в тайгах и болотах живут настоящие люди, с человеческим удивлением в глазах; не дикари и не любопытные ученые этнографы, а самые настоящие люди. Верно, это – самые лучшие люди: солнце их греет, тайга кроет, болото вбирает в свою зелено-бурую даль всю суетность души. Когда-нибудь они придут и заговорят на новом языке. Послушаем. Только пойдем ли свободный язык, возьмем ли из руки их то нежное, северное дитя, которое они бережно и доверчиво принесут нам?

Хочется сказать об этих северных светло-взорах, сообщниках муравьиного царя, простыми словами певца тайги – Георгия Чулко-

Ва:

*Стоит шест с гагарой,  
С убитой вещей гагарой;  
Опрокинулось тусклое солнце;  
По тайге медведи бродят.*

*ПРИХОДИ, ЛЮБОВЬ МОЯ, ПРИХО-  
ДИ!*

*Я спою о тусклом солнце,  
О любви нашей черной,  
О щербатом месяце,  
Что сожрали голодные водки.*

*ПРИХОДИ, ЛЮБОВЬ МОЯ, ПРИХО-  
ДИ!*

*Я шаманить буду с бубном,  
Поцелую раскосые очи  
И согрею темные бедра  
На медвежьей белой шкуре.*

*Приходи, любовь моя, приходи!*

Ноябрь 1906

# Примечания

Четверть часа (нем.)

[^^^]